

## Д. И. ЧИЖЕВСКИЙ

### <В. Г. Белинский>

<Фрагменты>

#### 1

Вряд ли есть много таких незаслуженных репутаций в истории русской культуры, как репутация Белинского. Нет никакого сомнения, что влияние Белинского было очень значительно. Нет сомнения, что влияние Белинского надо изучать. Но изучение Белинского непонятным образом сводилось почти что только к прославлению его, и прославлению безоговорочно. Между тем как история литературы уже более трех десятков лет вынуждена в целом ряде вопросов работать над тем, чтобы преодолеть узость суждений Белинского, неумеренное восхваление Белинского продолжается.

Нет сомнений, что Белинский заслуживает места в истории русской литературы, в истории русской поэзии, ибо единственное, что можно безоговорочно признать положительной стороной его статей, является их язык и стиль (что также не должно значить, что иной язык и иной стиль невозможен или подлежит осуждению). Читателя во многих случаях подкупает темперамент, с которым написаны статьи Белинского. Но глубины мыслей будем искать в них напрасно. Еще меньше найдем в них тонкости художественного восприятия. Об удачных и правильных суждениях Белинского приходится теперь, когда издана переписка Станкевича<sup>1</sup>, с изумлением установить, что эти «удачные суждения» очень часто просто взяты у Станкевича! Белинский просто принимал литературные симпатии своего духовного вождя. Когда Станкевич уезжает за границу и там умирает, в статьях Белинского начинается какая-то оргия несправедливых, непонятных, а иногда просто диких и фантастических суждений. Достаточно вспомнить осуждение рассказов Белкина и сказок Пушкина! «Бедных людей» Достоевского Белинский, правда, приветствовал, но ведь Достоевский был уже «открыт» друзьями Белинского; формально гораздо более совершенные «Двойник» и «Хозяйка» для Белинского только «чепуха страшная», «новое падение» — в них он ничего не понял. Первые поэмы Тургенева, по-своему очаровательные, но незначительные, Белинский приветствует почти восторженно, его рассказы, принадлежащие к лучшим произведениям Тургенева, встречает

холодно. Значение Гоголя Белинский считает весьма узким, он испуган преувеличенно-энтузиастической брошюрой К. Аксакова<sup>2</sup>, правильно оценившего поэтическую высоту Гоголя, и противопоставляет Гоголю как писателей мирового значения Вальтера Скотта, Жорж Занд и Купера! Не лучше суждения Белинского о мировой литературе: вторая часть «Фауста» — бессодержательная аллегория, «Божественная комедия» полна пустой символики, и Данте вообще не поэт, значение Мольера ничтожно и т. д., и т. д.<sup>3</sup> Хуже всего в Белинском — неспособность воспринимать художественные ценности, не представляющиеся ему ценностями первой величины: отсюда бессмысленно суровые отзывы о поэтах «второстепенных», но являющихся украшением русской литературы, — достаточно упомянуть Боратынского, оплеванного Белинским. Ибо перед чем Белинский не преклонялся, то он умел только оплевывать. Характерно знаменитое письмо к Гоголю; о его положительном содержании можно спорить, но гнусно в нем — подозрение в подкупности. По существу, духовно Белинский мало отличался от худших цензоров Николаевского времени. То, что проходило через правительственную цензуру, Белинский подвергал вторичной цензуре, не менее жестокой и не менее произвольной. Тем более жестокой, что она заставила замолчать не одного поэта, тем более произвольной, что Белинский не имел никаких *литературных* определенных воззрений и менял их из года в год! Традиция Белинского — несчастье для русской литературы. Пожалуй, только полную неисторичность Белинского можно еще понять, полное отрицание того, что он в литературе считал вчерашним днем. Именно Белинский создал и укрепил представление о каком-то литературном небытии до Пушкина. Но эта неисторичность очень часто характеризует собою эпохи интенсивного литературного развития.

Характер Белинского как критика довольно удачно определил Юрий Самарин: «С тех пор как он явился на поприще критики, он всегда был под влиянием чужой мысли. Несчастливая восприимчивость, способность понимать легко и поверхностно, отрекаться скоро и решительно от вчерашнего образа мыслей, увлекаться новизною и доходить до крайностей держала его в какой-то постоянной тревоге, которая наконец обратилась в нормальное состояние и помешала развитию его способностей. Конечно, заимствование само по себе не только безвредно, но даже необходимо; беда в том, что заимствованная мысль, как бы искренно и страстно он ни предавался ей, все-таки останется для него чужою: он не успевает претворить ее в свое достояние, усвоить себе глубоко и, к несчастью, усваивает настолько, что не имеет надобности мыслить самостоятельно.

Этим объясняется необыкновенная легкость, с которой он меняет свои точки зрения, и меняет бесплодно для самого себя, потому что причина перемен — не в нем, а вне его. Этим же объясняется его исключительность и отсутствие терпимости к противоположным мнениям; ибо кто принимает мысль на веру, легко и без борьбы, тот думает также легко навязать ее другим, редко признает в них разумность сопротивления, которого не находит в себе»<sup>4</sup>. Переписка Белинского, полное собрание всего его наследия подтверждают характеристику Самарина, за исключением одного только пункта: Белинский знал борьбу против новых мыслей, он не воспринимал их легко и на лету, он знал в себе силу внутреннего сопротивления новым, «чужим» мыслям; тем более непонятно, что он не признавал в других самой возможности «разумного сопротивления» этим мыслям.

Характеристика, данная Самариным, вполне подходит и к философскому «развитию» Белинского.

## 8

Кризис гегельянства у Белинского исходил из одного пункта, который сыграл роль в развитии не только Белинского, но и кое-кого из его современников. Этот пункт, сделавшийся знаменитым в истории русского духа, — тезис Гегеля в предисловии к «Философии права»: «Все действительное разумно». Этот тезис Гегеля Белинский, однако, понимал своеобразно, несомненно под влиянием того истолкования, которое дал М. Бакунин и которое намечено в его известном уже нам предисловии к переводу гимназических речей Гегеля.

Тезис Гегеля у Белинского превратился в другой: «*Все существующее* разумно». И Белинский, пытаясь раскрыть содержание «существующего» (больше в своих уединенных размышлениях, лишь отчасти выразившихся в письмах и совершенно неожиданно для друзей Белинского вдруг нашедших парадоксально заостренное выражение на страницах его статей), остановился особенно на таком существующем, которое *представляется* неразумным. Непосредственное восприятие менее обманывало Белинского, когда он, основываясь на нем, отвергал прозу жизни, «мещанство», многие стороны и явления русской жизни, чем обманула его псевдофилософская рефлексия, приведшая его к безоговорочному отождествлению всего этого с «действительностью» и к объявлению всего этого «разумным». Быть может, источником недоразумения было то, что Белинский уже ранее употреблял слово «действительность» в таком же смысле, в смысле всего непосредственно данного,

существующего: уже в статье о Гоголе 1835 года Белинский писал о том, что «поэзия всякого народа в начале своем бывает согласна с жизнью, но в раздоре с действительностью, ибо у всякого младенствующего человека жизнь всегда враждует с действительностью». Теперь Белинский делает героическую попытку примирения всего «существующего», примирения со всем: «Так в горниле моего духа выработалось самобытное значение великого слова действительность. <...> Я гляжу на действительность, столь презираемую прежде мною, и трепещу таинственным восторгом, сознавая ее разумность, видя, что из нее ничего нельзя выкинуть и в ней ничего нельзя похулить и отвергнуть» (письмо Бакунину от 10 сентября 1838 г.). «Действительность! — твержу я, вставая и ложась спать, днем и ночью, — и действительность окружает меня, я чувствую ее везде и во всем, даже в себе, в той новой перемене, которая становится заметнее со дня на день. <...> Я теперь каждый день сталкиваюсь с людьми практическими, и мне уже не душно в их кругу, они уже интересны для меня объективно, а я не в тягость им». Пример Белинского наиболее поразителен: он согласен исполнить просьбу о том, чтобы преподавать русский язык своим ученикам, «применяя науку к жизни», т. е. «уча... складно и ловко писать деловые бумаги по межевой части, приготовившись для этого сам». С точки зрения Гегеля, такое изменение задач преподавания — ненужное погружение в сферу эмпирической непосредственности, так же абстрактной, «отвлеченной», как и отвлеченная, абстрактная мысль. Белинский же договаривается до какого-то небывалого в истории мысли апофеоза повседневности, а если хотите, даже до апофеоза пошлости! «Смотря на каждого не по ранее заготовленной теории, а по данным, ими же самими представленным, я начинаю уметь становиться к нему в настоящих отношениях, и потому мною все довольны, и я всеми доволен. Я начинаю находить в разговоре общие интересы с такими людьми, с какими никогда не думал иметь чего-либо общего. Требуя от каждого именно только того, чего от него можно требовать, я получаю от него одно хорошее и ничего худого. <...> Надо во внешности своей походить на всех. <...> Теперь единственное мое старание, чтобы всякий, знающий меня по литературе и увидевший в первый и во сто первый раз, сказал: “Это-то Белинский, да он как все!” <...> Возбудить о себе толки чем-то странным, непохожим на ежедневность, обыкновенность — теперь это для меня хуже, чем прославиться пьянством, буйством и тому подобными добродетелями». Если в этих словах Белинский и высказывает еще между прочим и здравые мысли, например отмечая, что в стремлении к оригинальности есть и элементы поэмы и «пустоты»,

то в том же письме он договаривается до геркулесовых столбов, совершенно до мелочей отождествляя действительное со всем существующим. «Недавно узнал я еще великую истину, бывшую для меня тайною... Я узнал, что нет людей падших, изменивших своему призванию. Я теперь не презираю человека, погубившего себя женитьбою, затершего свой ум и дарования службою, потому что такой человек нисколько не виноват. Действительность есть чудовище, вооруженное железными челюстями: кто охотно не отдается ей, того она насильно схватывает и пожирает».

Последние слова, впрочем, показывают, что «примирение» с действительностью шло не без внутренней борьбы. Действительность для Белинского все еще «чудовище». «Действительность есть чудовище, вооруженное железными когтями и огромною пастью с железными челюстями. Рано или поздно, но пожрет она всякого, кто живет с ней в разладе и идет ей наперекор. Чтобы освободиться от нее и вместо ужасного чудовища увидеть в ней источник блаженства, для этого одно средство — *сознать* ее». Белинский, очевидно, дошел до этой последней ступени примирения с действительностью. Потому что в 1839 году он уже может писать Станкевичу: «Слово “действительность” сделалось для меня равнозначительно слову “Бог”. И ты напрасно советуешь мне чаще смотреть на синее небо — образ бесконечного, чтобы не впасть в кухонную действительность: друг, блажен, кто может видеть в образе неба символ бесконечного, но ведь небо часто застилается тучами, и потому тот блаженнее, кто и кухню умеет просветлить мыслию бесконечного. Бесконечное должно быть в душе, а когда оно в душе — человеку и в кухне хорошо». Белинский строит какую-то «героически-кухонную» философию: он приписывает особую заслугу тому, кто в повседневности видит бесконечность, «...в простом труднее разгадать бесконечную действительность, чем в поражающей *внешней* грандиозностью форме... в небе легче увидеть образ бесконечного, чем в кухне».

Странно сплетаются тут мотивы несомненно глубокие с недоразумениями и пошлостями. Кроме личных переживаний, лежащих в основе рассуждений Белинского, кроме самобичевания романтика, стремящегося перестать быть романтиком, здесь звучат и иные ноты. Белинский по-своему отвечает весьма серьезной потребности русской жизни, потребности, которая нарастала десятилетиями и в 40-х годах прорвалась наконец наружу: потребность *осмыслить русскую действительность*. Прimitивное славянофильство Погодина, и отчасти уже тогда Шевырева, а еще более слепое прославление всего русского официальных кругов менее всего могли удовлетворить потребности живых и мыслящих людей в осмыслении

действительности. Перед Белинским при знакомстве с философией Гегеля возник прежде всего вопрос, может ли *эта* философия помочь осмыслению русской действительности. Философия истории Гегеля, да и вся философия Гегеля вообще, конечно, была тесно связана с подобным же стремлением понять — в противоположность отрицанию просвещения XVIII века — внутреннюю необходимость и ценность «положительных форм» культурной жизни, например «положительного» христианства в форме протестантизма — в противовес абстрактной «религии вообще» XVIII века Белинский поставил тот же вопрос, когда заговорил о «разумной действительности». Неужели мы должны искать идеалов вдали от России и в глубине веков? Белинский ставит, по существу, тот же вопрос, который занимал славянофилов. Вопрос, встречающийся у Белинского, — почему видят более возвышенного и гениального в католицизме, чем в протестантизме, в лютеранстве, — не что иное, как вариант вопросов, стоявших перед Гегелем в 1793–1795 годах. Белинский ставит дальнейшие вопросы, касающиеся уже русской современности: почему и с правом ли видят более возвышенного в мистицизме, чем в «прозаической» разумности, почему представляют поэтичнее битвы гомеровских героев с их колесницами, копьями, щитами, стрелами и мечами, чем Бородинское сражение с неживописными короткими мундирами солдат, с прозаическими штыками и пулями? Именно потому, что в небе легче увидеть бесконечное, чем в кухне. Ошибка в рассуждениях Белинского начинается там, где он переходит от Бородинского сражения к «кухне». Этот переход можно видеть в тех статьях Белинского, в которых он — по-своему — поставил вопрос о смысле русской истории и русской действительности, в статьях, вызвавших возмущение всех друзей Белинского, в том числе и виновного, по крайней мере отчасти, в его заблуждении Бакунина.

Статьи Белинского, которые я имею в виду, это знаменитые статьи о Бородинской годовщине и о Менцеле как критике Гете. Точка зрения человека, восстающего против действительности или только находящегося с ней в разладе, представляет здесь мишень нападок Белинского. Вместо исторической необходимости Белинский подставляет здесь фатализм — только при этой нераскрытой предпосылке вполне понятны слова, которые Белинский вкладывает в уста «мира», так обращающегося к взбунтовавшемуся субъекту: «Ты не для себя создан, ты мне принадлежишь, каждую твою радость, каждое твое наслаждение ты можешь получить только с моего позволения». С ужасом и ненавистью внимает юный человек этому страшному голосу какого-то призрака, которого он не видит,

но которого страшные объятия обхватили его со всех сторон и не позволяют ему ни одного свободного движения. ...Разумный опыт жизни... уверяет его наконец, что этот колоссальный и враждебный ему призрак есть его же родное, его же внутреннее, словом, законы его же собственного разума, его же субъективного духа, но только осуществившиеся вовне его как явления». Не совсем понятно, почему при этом тождестве законов «действительности» и субъективного «я» возникает между ними конфликт. Белинский, впрочем, в известных пределах признает значение отрицательного отношения к «действительности»: «В духовном развитии человека момент отрицания необходим, потому что, кто никогда не ссорился с истиною, у того и мир с нею не очень прочен; но это отрицание должно быть именно только моментом, а не целою жизнью: ссора не может быть целью самой себе, но имеет целью примирение». «Примирение» — слово, однако, мало удачное, ибо Белинский понимает здесь под примирением полный отказ от всякой самостоятельности, полную сдачу всех позиций субъективного духа. Рассуждения Белинского приводят нас к дверям какого-то радостного фатализма. «Все что ни есть — есть или являющийся разум (разум в явлении), или сознающий разум (разум в сознании). Дело сознающего разума — сознать действительность, а не творить ее, и потому разум пишет грамматику, а не сочиняет языка, пишет трактат об организации общества, а не создает общества». «Горе тем, которые ссорятся с обществом, чтобы никогда не примириться с ним: общество есть высшая действительность; а действительность или требует полного мира с собою, полного признания себя со стороны человека, или сокрушает его под свинцовою тяжестью исполинской длани. Кто отторгся от нее без примирения, тот делается призраком, кажущимся *ничто*, и погибает». Поэтому человек «должен отрешиться от своей субъективной личности, признав ее ложью и призраком, должен смириться перед мировым, общим, признав только его истинною и действительностью».

Белинский не замечает, что он доказывает, пожалуй, слишком много, отождествляя — или, по крайней мере, сближая — природу и общество. «Все, что есть, то необходимо, разумно и действительно... Кто может сказать, что вот эта былинка не нужна, что это животное лишнее! Если же мир природы, столь, по-видимому, противоречивый, так разумно действителен, то неужели высший его мир истории есть не такое же разумно действительное развитие божественной идеи, а какая-то бессвязная сказка, полная случайных и противоречащих столкновений между обстоятельствами». И здесь Белинский не замечает, что, лишая «мир истории» свободы, он не возвышает,

а принижает его. Он не видит того, что все возможности отнюдь не исчерпываются «действительно разумным развитием» (по существу, в представлении Белинского — механическим) и «бессвязною сказкою». Не замечая никаких иных возможностей, он решает вопрос в пользу «действительно разумного развития». Поэтому он так же решительно принимает все, что существовало в тогдашней русской жизни, как он принял повседневность. Белинский безоговорочно принимает русское самодержавие, русский национализм, отвергает этические оценки исторических событий, но также и искусства и художника. Все это очень внешне связано с теми отрывками философии Гегеля, которые Белинский в тех же самых статьях преподносит читателю. Проповедь полного политического квиетизма вряд ли можно соединить с пониманием истории, государства, общества как жизни, как процесса, как духовных существ. В тех же статьях Белинский твердит: «Народ не есть отвлеченное понятие: народ есть живая особность, духовная субстанция»; «Государство есть высший момент общественной жизни и ее высшая и единая разумная форма»; «Общество или народ не есть отвлеченное понятие, но живая личность, единое тело и единая душа»; общество и государство развиваются «не механически, но динамически», они носят свою цель в самих себе, великие люди — проявление сущности народной жизни, да и жизнь масс самих — «явление духа». Все эти утверждения отнюдь не говорят о статическом представлении об историческом процессе!

В своих устных высказываниях Белинский шел, как кажется, еще дальше; по крайней мере, так утверждал позже Герцен.

## 9

По существу, мировоззрение Белинского не нуждалось в радикальной перестройке. Можно было бы ожидать, что он поймет неправильность своего истолкования Гегеля, откажется от своего истолкования действительности. Не было никакой внутренней необходимости переживать «кризис мировоззрения», убедившись в том, что Гегель был понят неправильно, что из гегельянства вовсе не вытекает ни фатализм, ни идеализация «кухонной действительности». В значительной степени кризис мировоззрения Белинского вытек из имманентного развития его мировоззрения, а отчасти из тех внешних условий, в которых это мировоззрение развивалось. Эпоха Николая I толкала каждого мыслящего человека к оппозиции, если не прямо к политическому радикализму: яснее всего это становится при знакомстве с развитием славянофильства. Об этом

мы еще будем иметь случай говорить в дальнейшем. Западнические симпатии Белинского увели его к западноевропейскому радикализму. В значительной степени увлекли с собою Белинского, усвоившего новые идеи в порядке психической заразы, его друзья, прежде всего М. Бакунин, отчасти Герцен, а более всего своими информацией о развитии левого гегельянства Боткин. Очень существенную роль сыграли в кризисе мировоззрения Белинского и общие причины, вызвавшие отход поколения «сороковых годов» от философии, — об этом позже. Во всяком случае, Белинский уходит от гегельянства к французскому социализму, и его философские интересы, которым не отвечала способность философского мышления, становятся все слабее и слабее.

Собственно, развитие Белинского и его отход от философии находят в его произведениях лишь очень слабое отражение. И не только потому, что в печати того времени радикализм не мог бы найти достаточно ясного выражения, но скорее всего потому, что Белинский не мог заменить своего гегельянского мировоззрения никаким иным. А целостное мировоззрение было для него как для писателя так удобно! Только в последние 2–3 года жизни гегельянская фразеология становится менее заметной и «философские» обрывки и словечки встречаются реже. Но замечания на эстетические темы, а отчасти и по другим вопросам, остаются все еще в русле — в значительной степени словесного — гегельянства. Именно это употребление формул и терминов мировоззрения, против которого Белинский в то же время борется в своих письмах, которое он позже уже оставил, показывает ярче всего всю поверхностную несерьезность «философских увлечений» Белинского. То отношение к философии, с которым он усвоил себе в свое время фиктеанство, чтобы написать хорошую рецензию, проявляется у Белинского в поздние годы.

Еще и в 1842 году Белинский полемизирует против эмпиризма, пользуясь аргументацией Гегеля. Зато в письмах чувствуется уже отталкивание от Гегеля, хотя оно и не принимает определенных форм. Наряду с этим все еще встречаемся в письмах с положительной оценкой Гегеля; не так существенно, что Белинский «заказывает» цитаты из Гегеля у своих друзей, но он все еще видит в философии Гегеля школу для каждого мыслящего человека, он все еще считает Гегеля «умным мужиком» и пытается опираться на сказанное Гегелем (хотя, по существу, в этом случае дело идет снова о типичном для Белинского недоразумении: он приписывает Гегелю какой-то им самим изобретенный взгляд на брак). В своих статьях Белинский все еще говорит о Гегеле с почтением и признанием.

Но Белинский видит теперь иное в переоцененной им ранее «действительности». Уже в 1843 году Белинскому в жизни бросаются в глаза «щели, которых не заклеить даже и философии Гегеля». А в следующем году с Гегелем покончено (как сказано выше, читатели статей Белинского этого не могли заметить): «К дьяволу все субстанциональные силы, все предания, все чувства и ощущения, да здравствует один разум и отрицание!» «Да, теперь уже не Гегель, не философские колпаки — мои герои». «Пигмеи все эти гегелята!» «Гегель мечтал о конституционной монархии как идеале государства — какое узенькое понятие!» (Белинский сам превратил эту конституционную монархию в монархию абсолютную.) «А брак — что это такое! Это установление антропофагов, людоедов, патагонов и готтентотов, оправданное религиею гегелевской философией». «Взгляд сенсимонистов на брак лучше и человечнее взгляда гегелевского (т. е. который я принимал за гегелевский)».

Белинский в письме Боткину от 1 марта 1841 года развивает систематически свои возражения против Гегеля, т. е., вернее сказать, против самого себя. «Я давно уже подозревал, что философия Гегеля — только момент, хотя и великий, но что абсолютность ее результатов ни к <...> не годится, что лучше умереть, чем помириться с ними. <...> Глупцы врут, говоря, что Гегель превратил жизнь в мертвые схемы; но это правда, что он из явлений жизни сделал тени, сцепившиеся костяными руками и пляшущие на воздухе, над кладбищем. Субъект у него не сам себе цель, но средство для мгновенного выражения общего, а это общее является у него в отношении к субъекту Молохом, ибо, пощеголяв в нем (в субъекте), бросает его, как старые штаны. Я имею особенно важные причины злиться на Гегеля, ибо чувствую, что был верен ему (в ощущении), мирясь с расейскою действительностью, хваля Загоскина и подобные гнусности и ненавидя Шиллера. <...> Все толки Гегеля о нравственности — вздор сущий, ибо в объективном царстве мысли нет нравственности, как и в объективной религии... Судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира и здоровья китайского императора (т. е. гегелевской *Allgemeinheit*). Мне говорят: развивай все сокровища своего духа для свободного самонаслаждения духом, плачь, дабы утешиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись к совершенству, лезь на верхнюю ступеньку лестницы развития, — а споткнешься — падай — черт с тобою — таковский и был сукин сын... Благодарю покорно, Егор Федорович, — кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всем подобающим Вашему философскому филистерству уважением честь имею донести Вам, что, если бы мне и удалось влезть на верхнюю

ступень лестницы развития, — я и там попросил бы Вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверий, инквизиции, Филиппа II и пр., и пр.: иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братии по крови, — костей от костей моих и плоти от плоти моей. Говорят, что дисгармония есть условие гармонии: может быть, это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии. <...> Выписка из Эхтермейера порадовала меня, как энергическая стукушка по философскому колпаку Гегеля». Этот обвинительный акт, созвучный бунту Ивана Карамазова, собственно, имеет только один недостаток: он направлен не по адресу. Белинский забывает, что точно такой же обвинительный акт можно направить и представителю социалистического мировоззрения, и даже — после осуществления социалистического идеала. Для этого не надо было ни думать о конкретном осуществлении социализма, ни видеть пример такого осуществления. Иван Карамазов адресовал свои обвинения не Гегелю, а... Богу.

Белинского, как мы видим из упоминания об Эхтермейере, его друзья (Боткин) познакомили с «Галльскими ежегодниками»<sup>5</sup>. Таким образом, ему стали известны левые гегельянцы. И действительно, мы находим не только в письмах, но даже в статьях Белинского отдельные места, в которых он по крайней мере упоминает о гегелевской «левой»: «Теперь гегелизм распался на три стороны — правую, которая остановилась на последнем слове гегелизма и далее не пойдет; левую, которая отложила от Гегеля и свой прогресс полагает в живом примирении философии с жизнью, теории с практикою; и центральную, составляющую нечто среднее между мертвою стоячестью правой и стремительным движением левой стороны. Если мы сказали, что левая сторона гегелизма отложила от своего учителя, это не значит, что она отвергла его великие заслуги в сфере философии и признала его учение пустым и бесплодным явлением. Нет, это значит только, что она хочет идти дальше и при всем ее уважении к великому философу авторитет духа человеческого ставит выше авторитета Гегеля. Философия Гегеля обняла собою все вопросы всеобщей жизни, и если его ответы на них иногда обнаруживаются принадлежащими уже прошедшему, вполне пережитому периоду человечества, зато ее строгий и глубокий метод открыл большую дорогу сознанию человеческого разума и навсегда избавил его от извилистых окольных дорог, по которым оно дотоле так часто сбивалось с пути к своей цели. Гегель сделал из философии науку, и величайшая за-

слуга этого величайшего мыслителя нового мира состоит в его методе спекулятивного мышления, до того верном и крепком, что только на его же основании и можно опровергнуть те из результатов его философии, которые теперь недостаточны или неверны: Гегель только ошибался в приложениях, когда изменял собственному методу. В лице Гегеля философия достигла высшего своего развития, но вместе с ним она же и кончилась как знание таинственное и чуждое жизни: возмужавшая и окрепшая, отныне философия возвращается к жизни, от докучного шума которой некогда принуждена была удалиться, чтоб наедине и в тишине познать самое себя. Начало этого благодатного примирения философии с практикою совершилось в левой стороне нынешнего гегелианства. Примирение это обнаружилось и жизненностью вопросов, которые занимают теперь философию, и тем, что она оставляет понемногу свой тяжелый, схоластический язык, доступный одним адептам ее, и тем, что она возбудила против себя ожесточенных врагов уже не в одних школах и в книгах. Теперь это уже не школьная, не книжная философия, знающая только самое себя и уважающая только собственные интересы, холодная и равнодушная к миру, которого сознание составляет ее содержание: нет, теперь она должна быть строгою, суровою и холодною, как разум, но вместе с тем и вдохновенною, как поэзия, страстною и симпатическою, как любовь, живую и возвышенною, как верование, могучею и доблестною, как подвиг». Все это — только программа. И, как кажется, программа только для читателей статей Белинского; в письмах от философии Белинский вскоре не оставляет камня на камне; в статьях почему-то он этого не делает так решительно. Правда, и в статьях Белинский меняет коренным образом некоторые пункты своего мировоззрения: наиболее существенным является отказ от теории «искусства для искусства», отказ, разумеется, ведущий за собою принципиальное изменение в критических оценках Белинского.

Нового цельного мировоззрения Белинский гегельянству не противопоставляет. Не только потому, что он не мог бы этого сделать в тогдашней русской печати, но просто потому, что никакого нового мировоззрения у него и не было. И в письмах мы встречаем только знакомую нам уже критику основ гегельянства, вернее — мыслей, которые Белинский считал основоположными для гегельянства. Не было и человека, который бы таким образом мог познакомиться Белинского с философией левого гегельянства, как познакомили его с философией Гегеля Станкевич, Бакунин и Катков. Анненков рассказывает, правда, что для Белинского был приготовлен рукописный перевод V «Сущности христианства» Фейербаха

и что ему было передано содержание «Единственного» Макса Штирнера; философия Штирнера, по сообщению Анненкова, понравилась Белинскому<sup>6</sup>. Интересно, как он мог это увлечение радикальным индивидуализмом Штирнера соединить с увлечением социализмом! В статьях и письмах не видно никакого влияния ни Фейербаха, ни Штирнера (и то и другое было не невозможно в пределах цензурных, поскольку дело бы шло о философских *пред-посылках*). Отход Белинского от философии Гегеля означает для него отход от философии вообще. Уже в 1840 году Белинский признается в письме Бакунину в своей «ненависти к знанию как сушильне жизни», философия для него — «ненавистная философия».

«...Пропадай это ненавистное общее, — пишет он в том же году Боткину, — этот молох, пожирающий жизнь, эта гремушка эгоизма, самоосклабляющегося в нем! Лучше самая пошлая жизнь, чем *такое* общее, чтобы черт его побрал! Пусть лучше дан будет моему разумению маленький уголок живой действительности, чем это пустое, лишенное всякого содержания, всякой действительности, сухое и эгоистическое». Всеобщее, «действительность», подавляет личность. Немецкой культуре, которая для Белинского так внутренне близка идеалистической философии, теперь противопоставляется французская как более ценная, «живая», близкая к жизни. В эти же годы Белинский переживает религиозный кризис, приводящий его к атеизму и отрицанию личного бессмертия. Но, как мы видели, несмотря на это, Белинский как будто стыдится открыто отвергнуть ненавистную ему философию Гегеля и продолжает в статьях упоминать о ней в тех тонах признания, с которыми мы познакомились выше в цитатах, говорящих о левом гегельянстве.

Если путь Белинского — типичный путь целого ряда людей 40-х годов и, в частности, родственен пути, пройденному Бакуниным и Герценом, то все же трудно видеть в этом оправдание Белинского! В отличие от трагического характера кризиса гегельянства у Бакунина в неистовстве «неистового Виссариона» трудно не видеть своего рода траги-комедии: пассивно восприняв чужие мысли, не поняв их, Белинский сначала безумно восторгается возникшими в его уме странными философскими призраками, потом с тем же неистовством отвергает их. Трагическим оказалось увлечение Белинским в русском обществе, как трагично всякое поклонение ложным пророкам!

